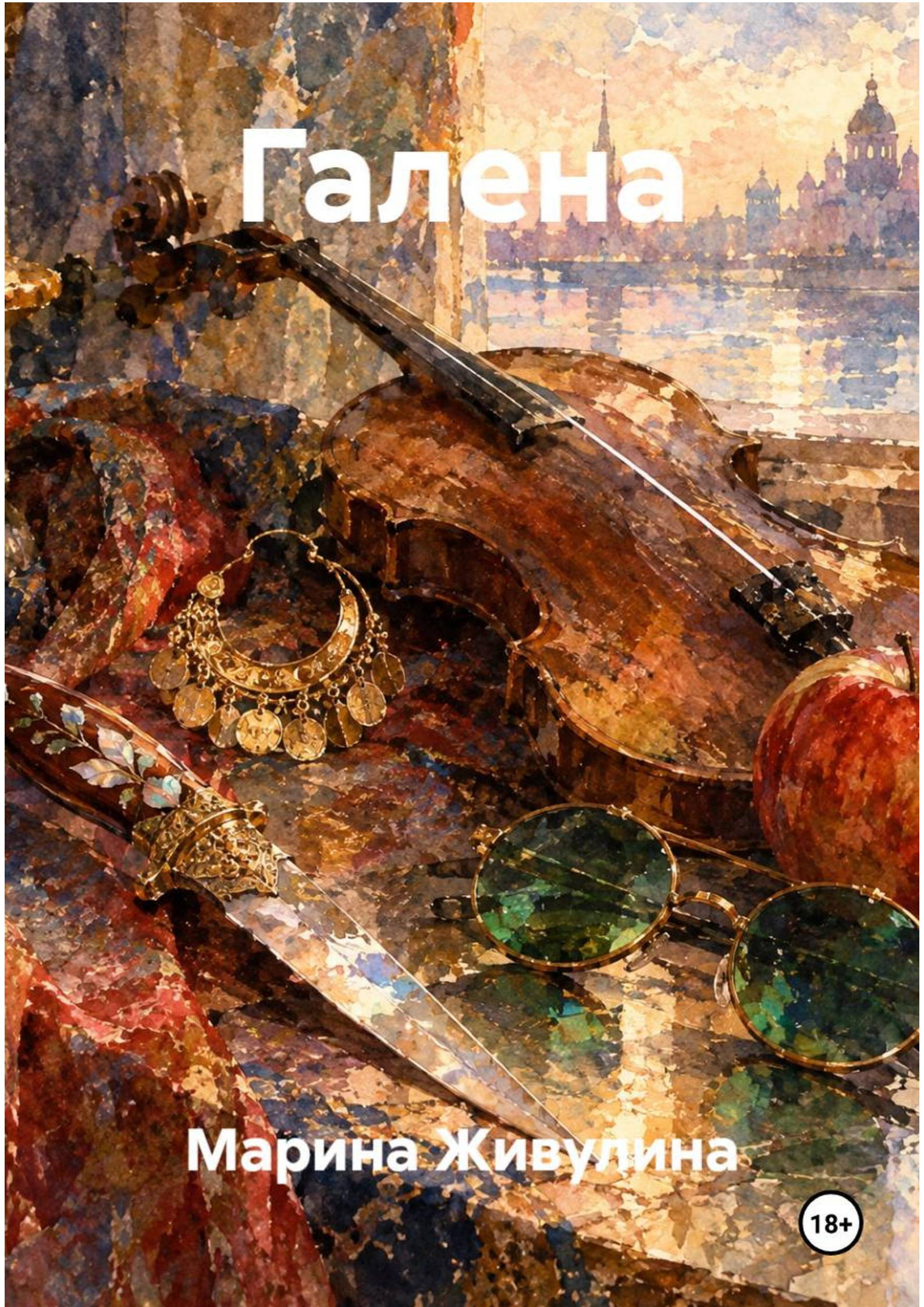




Галена

Марина Живулина

18+

Марина Живулина
Галена

«Автор»

2026

Живулина М.

Галена / М. Живулина — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, октябрь 2026 года. На Васильевском острове внезапно замирает время, а улицы покрываются колючим серым инеем. Древняя магия, веками державшая Границу между мирами. Разгадка этого паралича кроется в ломаных петлях времени.

© Живулина М., 2026

© Автор, 2026

Марина Живулина

Галена

Глава 1. Русал

Когда-то она была красавицей. Никто уже об этом не помнил, а она изредка вспоминала: будто не себя, а какую-то незнакомку.

Сколько лет уж намоталось на её судьбу, а опускаться не хотелось. На полированном трюмо всегда лежали крем для век, крем для рук, помада, тушь, карандаш для бровей, бигуди, краска для волос. Правда, современники не знали таких названий, а у неё всё хранилось, не портилось, не стиралось, не заканчивалось. Казалось, чистый яд должен был закипеть в пузатой амфоре с духами: на их коробочке давно стёрлись даже золотые птички, летящие к золотому дереву. И крем стал густым и жёлтым – даже не как сливки, а как песочное тесто.

Пожилая женщина одиноко жила в квартире под крышей, на пятом этаже старого дома на 5-й линии Васильевского острова. Широкая лестница без лифта, высокие окна, голуби с вечным «курлы-курлы» на крыше в любое время года, глиняные горшки с можжевельником и самшитом на застеклённом балконе, не погибавшие даже в мороз...

Впрочем, морозов давно не бывало. Прошлая зима вся нулевая простояла, да это разве зима? Прохожие в кроссовках да куртках сновали по бесснежным тротуарам, земля курилась. Только на пять дней, перед самым Новым годом, выпал настоящий снег – густой, пышный, укрывший всё пуховым одеялом. Но и он скоро растаял. А вот весна в мае принесла сугробы, такого плотного белого покрова на Пасху в городе давно не видали: в церкви шли в шубах и шالях, точно не Пасха, а Рождество.

В её жизни растаяло уже много миров, но каждый раз удивительным образом нарождалась новая жизнь. Казалось, вот-вот должно было исчезнуть всё – и мир, и она сама, но появлялись нити, сплетавшиеся в новую ткань. И жизнь продолжалась.

Это юность привыкла смотреть глупыми нахальными глазами на одиноких старух, думая, что те только и мечтают умереть. На самом деле юность и не подозревает, как течёт эта презируемая ими жизнь, не подозревает, что нет там ни пустоты, ни стремления уйти.

Вот, к примеру, взять хотя бы прогулки в Румянцевском саду. Галина обзавелась там постоянными знакомыми самых разных возрастов и даже видов. Её привечали все гуляющие собаки: бодали носами при встрече, подставлялись под прохладную ладонь, с восторгом обнюхивали. Нашлись и галантные ухажёры возрастом от пятидесяти до восьмидесяти лет – из тех старых василеостровских интеллигентов, что чинно сидели у фонтана. Не зря она всегда красила губы и надевала берет набекрень, а в зимние дни горделиво носила серое пальто с пожелтевшим, но всё ещё шикарным песцовым воротником.

Ходила Галина и в студию театральной самодеятельности, где модные пожилые дамы и джентльмены собирались вместе и ставили пьесы по классике русской литературы, а иногда, с волнением неофитов, давали эти пьесы в малом зале ДК имени Кирова. Им рукоплескали!

Часто захаживала она в ларьки с фруктами на углу, где торговали бойкие узбеки и азербайджанцы, и в лавочку турецкого кашемира на Большом проспекте. Летом копалась на газоне у дома, высаживала флоксы, настурции, петунии и ноготки. Зимой клала сало синицам в кормушки, подкармливала бродячих котов. Наведывалась в банк, когда приложение на стареньком смартфоне вдруг становилось слишком мудрёным после обновления. Иногда продавала свои раритетные духи в интернете и тогда шла отправить посылку. А по праздникам с почты на 6-й линии от Галины уходило десятка два бумажных открыток в разные города, где так же неслышно шелестели и упорно отказывались сохнуть её ровесники.

Дома Галина тоже сложа руки не сидела: знала – не затей каждую неделю капитальную уборку, грязь быстро везде нарастёт. То турку надо было почистить до блеска, то можжевель-

ник на балконе утеплить, то окна помыть длинной шваброй, то зеркало протереть от пыли и кремовых брызг, то лампочку поменять – и она сама упрямо лезла на высокий табурет под трёхметровый потолок.

Старый чёрный кот Сивер в такие моменты лежал на шкафу и лениво следил за ней, будто удивляясь, чего она никак не успокоится. От него – будь то при солнечном свете или при вечерней лампе – падало сразу две тени.

Иногда Галина ходила в гости к старому другу. Пожилой этнограф – профессор Артур Моисеевич Бланк – большую часть жизни посвятил изучению Африки. В его квартире, неприлично просторной для Галины, жил дух Момбасы. Собеседники сидели точно не на сыроватой лоджии, а на солнечной деревянной веранде, вдыхали не прохладный влажный воздух, а жаркий, плотный и пряный. Артур Моисеевич был гостеприимен и встречал давнюю подругу терпким вином – конечно же, родом из ЮАР.

Профессор держал связь не только с Момбасой, но и с африканскими деревнями: электронная почта давно дотянулась и туда. Впрочем, как ему было не держать связь, если он писал уже десятую книгу по фольклору племени гирияма. И Галина думала, что книги эти будут писаться, пока профессор дышит.

Они пили вино жарких стран и словно воочию видели, как перед чёрной южной ночью морковный цвет момбасских крыш приобретает бархатный оттенок едва обожжённой в печи терракоты.

Когда Галина выходила на питерские улицы, город ронял этот жаркий цвет по капле, постепенно линял, терял жгучий вкус и пряный запах. Весной появлялось больше серого и голубого, больше теней и воды – весна пахла железом, снегом, мокрыми прошлогодними листьями и безрассудно лезущими наружу почками. Летом всё затягивало ровным зноем, пахло нагретым толем с крыш, пыльными дворами-колодцами и тонким, едва уловимым ароматом цветущих лип, который сквозняком проносило вдоль линий. А сейчас, в сентябре, под ногами с сухим шорохом перекатывалась жёсткая кленовая позолота, цокая черенками по брусчатке, а от реки тянуло арбузной свежестью.

Галина шла и шевелила тростью кленовые звёзды. И постепенно забывала, что там, в доме у друга, есть ещё кое-что. Или кое-кто.

Скульптура высотой с человеческое колено, выточенная из серо-зелёного камня – будто бы мыльного, чуть тёплого на ощупь.

Галина часто смотрела на это гладкое женское лицо, на глаза из перламутра, которые в неверном свете ламп казались мокрыми. Из спины женщины вырастало что-то вроде гребня из крошечных змей, застывших в движении. Профессор тыкал пальцем в бронзовую табличку с надписью «Mami Wata, Coastal Togo, late XIX century. Donated by local fisherman» и, заливаясь несколько странным смехом, грозил Галине:

– Не вздумай поить её вином, иначе всё вокруг начнёт гнить!

Галина даже не поворачивала головы. Воздух вокруг фигуры едва уловимо пах морем. Она и без Артура знала, кто эта женщина.

Вот и сегодня Галина, прихрамывая, выходит в рассвет: они с Артуром опять просидели целую ночь за вином и разговорами. Всё вокруг мерцает: стальное утро после тяжёлого алкогольного сна. От остывающей за ночь Невы поднимается густой пар.

Галина идёт по мосту, потом спускается по лестнице к воде, идёт по разномастной гальке. Под подошвами хрустит намытый штормом мелкий ракушечник. В голове вдруг тянет холодным озоном, точно в черепе проделала дырку невидимая пуля, прилетевшая из-за угла.

На берегу, среди разбросанных бумажных стаканчиков из-под кофе и пустых пивных бутылок (люди, кажется, мусорят всё больше и больше), лежит бледное обнажённое тело.

Тёмно-рыжий сухопарый мужчина лет тридцати, с короткими выющимися волосами, небритый, чуть загорелый. Судя по морщинкам у глаз – улыбчивый. *Был* улыбчивый. Глаза, что смотрят в небо, – бутылочно-зелёные, а ресницы длинные, кофейного цвета, с выгоревшими кончиками. Красивый, сильный.

Рядом с юношей лежит круглая жемчужина на простой нитке: раньше он носил её на шее. Теперь жемчужина треснула и словно высохла, съёжилась.

Мёртвый русал.

Галина вдруг ощущает в себе прилив сил. Годы отступают, как волна от берега. Она садится на корточки рядом с телом и понимает, что в коленях нет ни боли, ни слабости.

Не просто мёртвый, понимает она. Убиенный.

Такие мальчики, резвящиеся в воде и в городе, соблазняющие женщин всех возрастов, не склонны уходить сами. Хотя силу он в последнее время терял, как и все. Как и все.

Галина ощущает, как внутри неё что-то обламывается: хрустит, рвётся, гаснет. На одного меньше. А их и так мало, трагически мало. И некому их защитить.

От русала веет болью, и это понятно, но боль принадлежит не только жертве, но и убийце.

Утро разбудило долгим тренькающим звонком. Пришла волонтерка Нюра – миленькая пухляшка с развесёлыми цветками-заколками в волосах, точно ей было тринадцать лет, хотя на деле – уже за сорок.

Собес почти насильно взял Галину на поруки. Сама со всем справлялась, но визитёры упорно таскали дежурные пайки и справлялись о душевном здоровье. А напоследок неизменно затягивали этот свой «час общения» – причём выговариваться, похоже, требовалось именно самим волонтерам. Судьбы у девчонок были такие трудные и ломаные, что они просто не могли уйти от неё не поплакав.

По паспорту, выправленному ещё в советские годы, она числилась одинокой старухой: родилась семьдесят шесть лет назад, тяжело перенесла новый вирус, который называли «коронной», а потом и вовсе заработала пару микроинсультов. Возраст обязывал носить весь этот человеческий мусор: немного одышки, немного отёков, немного артрита – всё вместе набегало на яркий букет.

От собеса к ней ходили трое по очереди, и чаще других заявлялась Нюра. Галина часто думала: если кому тут и требовалась помощь, так это самой Нюре. Та везла на своём горбу мужа-алкоголика, двух балбесов-детей, мать с деменцией, пахала на двух работах, да ещё и волонтерила. Галина подозревала: остановись Нюра хоть на секунду – упадёт замертво. Конечно, дохлую лошадь нельзя бить поленом, но жизнь часто именно так и поступает. И скелет лошади продолжал скакать.

Сегодня Нюра притащила с собой огромный пакет консервов и круп, тяжело прошла на кухню и водрузила всё это на стол, даже не поднимая головы. Белый помпон на её шапке мотался сам по себе. А когда подняла голову, ахнула.

– Выглядите просто шикарно, Галина Павловна! В санаторий ездили? А может, кавалер объявился?

– Кавалеры всегда есть, – авторитетно сказала Галина. – Что я, не женщина, что ли?

– Вот завидую я, как вы за собой следите. И волосы покрасили, и брови! Красотка!

Галина чуть нахмурилась. У Нюры было два состояния: либо она трещала без умолку, пересказывая все городские сплетни, либо приходила настолько уставшей, что только слабо кивала на принесённые продукты. Тогда она долго пила кофе, а порой – курила на балконе.

– Вы об утопленнике слышали? На «Фонтанке» писали! Красивый такой, молодой, и главное – ни вещей, ничего... Говорят, сам утопился... Обокрали, что ли? Ничего не понятно... Или волной выбросило? Вода в реке поднялась, а там бережок низкий...

– А что милиция говорит?

– Да ничего, как всегда. «Ведётся следствие». Никого не задержали. Мне, кстати, Верка рассказала, она с ним в одном доме, на Кадетской...

Вера тоже волонтерила. А на Кадетской стояли старые царские доходники, где прежние гигантские коммуналки теперь перенарезали на просторные квартиры. Некоторых тамошних обитателей Галина знала лично.

Сразу после ухода Нюрочки она собралась и отправилась на Кадетскую. И только пройдя половину пути, поняла, что забыла трость – и прекрасно обходится без неё.

Погода возвращала людям тепло. Ещё неделю назад город прижало первыми злыми заморозками, а сегодня солнце высвечивало каждую щербинку на стенах зданий, река блестела чистой сталью, и деревья мазали по пронзительно-голубому небу сухими золотыми вершинами.

Дом, куда приходит Галина, – шедевр архитектуры, давно переживший свои лучшие времена. Потолок высокий, с изысканной лепниной, но с жёлтыми пятнами сырости по углам. Всё здесь скрипит, протекает, высыхается, плесневеет. В некоторых квартирах по-прежнему царят коммунальные порядки: комнаты снимают в складчину, но кухня, ванная и коридор остаются общими, и кажется, что время застыло.

Утопленник тоже снимал большую трёшку на пару с какой-то тёткой; на звонок Галины та выходит в бигуди и в китайском атласном халате с полинявшими драконами, представляется Ритой.

Галина выдаёт себя за школьную учительницу математики, у которой когда-то учился убитый.

– Мне на днях с замком помогал, – вздыхает она, как бы невзначай показывая мятый конверт в руках. – И плату на тумбочке забыл, гордый мальчик. Вот, принесла вернуть, пусть хоть на похороны пойдёт. Мне б на стол ему положить...

Глаза Риты масляно блестят, прикипая к конверту.

– Ну... пойдёте, положите. Хотя... как же вы положите... там же закрыто...

И в самом деле, дверь в комнату покойного опечатана, но от лёгкого прикосновения Галины бумажная лента послушно отходит в сторону, не порвавшись. Рита ахает, но проскальзывает внутрь вслед за Галиной, карауля каждый её жест. А потом вдруг ни с того ни с сего начинает причитать:

– Игорёк так петь любил! Пел, когда готовил, в ванной пел... Голос у него был такой, что сердце замирает! Из раковин ещё мастерил какие-то штучки, и всё вокруг звенело, точно море рядом... Только раньше песни были такие, что жить хотелось, а в последнее время тоска... Думаю, может, и правда – сам? Только вещей ведь не нашли...

Галина оглядывает полки, уставленные морскими раковинами, в них живёт эхо стихии. Для каждого русала у воды есть свои любимые звуки и цвета.

Она вспоминает длинные ресницы и тихо вздыхает. Жалко его. Жалко всех. Только вот в комнате Игоря нет никаких намёков на то, почему беда случилась. Только тишина, а в ней – лёгкое шипение прилива.

Уже проходя по коридору к двери, она замечает в одном из зеркал своё отражение и останавливается. На неё смотрит вовсе не старуха – женщина с тёмными, лишь слегка пронзёнными проседью волосами. И где-то в глубине позеленевших глаз вспыхивает золотая искра.

С утра в квартире пахло не «Мицуко» и не пудрой – даже не можжевельником из щелей балконной двери. Пахло... мёдом, в котором умерли пчёлы.

Пчёлы иногда гибнут прямо в запечатанных на зиму сотах – от болезни, голода, холода, от множества мелких напастей. Весной, когда улей открывают, глазу предстаёт золотой мёд,

ровный, ничем не испорченный, только внутри – чёрные крохотные тельца. И запах уже другой: тленный, с острой ноткой.

Сейчас запах шёл снаружи, просачивался внутрь сквозь рамы. Сладость, чуть подгнившая, с металлическим привкусом.

Галина пошла на кухню, открыла кран: вода текла густая, мутная, с серыми пузырями. Казалось, в ней кто-то дышит.

Сивер, до сих пор ленивый, вдруг встал на лапы, выгнул спину; глаза зажглись ярко, как два маленьких фонаря. Галина прищурилась: их действительно было два. Ещё вчера, как и все прошедшие годы, кот был слеп на один глаз, однако теперь бельмо пропало начисто. И седина исчезла – мех почернел, заблестел. Да и лапы двигались куда увереннее.

А потом кот подошёл к входной двери и просительно сел. Галина подняла брови: такого много лет не наблюдалось.

– Серьёзно? – чуть растерянно спросила она.

Сивер упорно таращился на дверь.

Галина покачала головой и полезла на антресоли. Поводок нашёлся быстро: старый кожаный, с тяжёлым железным карабином.

Город встретил привычным пёстрым шумом: люди спешили, машины гудели, голуби кружили над крышами. Пахло мокрым асфальтом, кофе из киоска, выхлопными газами и чьими-то жареными котлетами. Но за Галиной упрямо тянулся запах мёртвого мёда, обвивал волосы, заходил под воротник.

Сивер шёл вперёд, чуть покачивая поднятым гладким хвостом. Ноздри его раздувались, зрачки на свету сошлись в узкие щёлочки, сделав его похожим на ядовитую змею.

Они свернули под арку с облупленной штукатуркой; во дворе над головой горбились старые короба теплоцентрали. Тут кот замер, выгнулся дугой, шерсть наэлектризовалась. Он посмотрел в темноту между стен, туда, где не было ничего, и вдруг хрипло зашипел. А когда обернулся, Галина увидела, что глаза его вернули прежний вид, вид прошлых столетий. Один был жёлтый, наполненный ярким сиянием солнца, янтарный, золотой, а другой – холодный, изумрудный, мерцающий, с проплывающими тенями.

Галина смотрит в этот лунный глаз и чувствует, как к ней капля за каплей возвращается чуткость. Слух, зрение, нюх, осязание – всё обостряется, всё возвращает свою природу. Древние века тают. Запах, который она слышит, усиливается: тление, железо, сладость, неуместная в этой будничной реальности.

Сладость смерти, думает она, и внутри что-то отзывается. Как старый замок, который целую жизнь не открывали, но ключ всё ещё подходит.

Старые сказки любят врать. Особенно насчёт того, о чём человеку страшно или неудобно помнить.

О таких, как Галина, рассказывали веками: кто вполголоса, кто шёпотом у печи, чтобы не сглазить. Потом эти истории перекечевали в книги, стали яркими, шумными, удобными для детей. Слова менялись, роли смешались, и правда постепенно выветривалась.

Когда-то давно такие женщины знали Дорогу. Туда – и обратно. Они провожали и встречали. Чувствовали, где истончается ткань мира, и не давали ей порваться раньше времени. Их не боялись и не любили, их просто знали. Со временем их имена стёрлись, обязанности упростились, а сами они съжились в народной памяти до карикатуры. Мир стал слишком липким, шумным и назойливым, слишком уверенным в себе.

С годами, со столетиями роль Стражей Границы менялась, и в конце концов в лишь в глухих лесах остались редкие ведьмы. И ходили к ним теперь только те, чьё горе или беда не знали никаких берегов.

К Галине в середине прошлого века пришёл такой один. Он пах жизнью, она в нём плескалась во все стороны: как зелёные почки весной, как брызги сияющей воды, как лучи полуденного солнца. Слишком много жизни – и слишком мало страха.

Неправда, что такие запахи были невыносимы Стражам, напротив, они приятно удивляли. Большинство живых были живы недостаточно: держались за мир слабо и потому очень скоро отправлялись туда, откуда не возвращаются. Но иногда жизнь закреплялась, как якорь в бурной воде. И тогда всё было иначе.

Глава 2. Серия

Сивер сидел на шкафу под самым потолком. Усы топорщились, как проволока, загустевшие; кот и размерами прибавил вдвое и теперь напоминал некрупную рысь.

– Ну что, – тихо спросила Галина. – Оперился? Вернулись силы?

Кот оскалил пасть и зашипел.

– Вижу, – кивнула Галина. – Но ты места своего не забывай, Сивер. Я тоже уже не старуха.

Кот тут же замурчал, как трактор, на всю комнату. Шкура у него лоснилась, точно новый бархат.

Галина усмехнулась и глубоко вдохнула – словно лопнул стягивавший грудь обруч. Встала неожиданно легко и пошла к зеркалу. Давно её не тянуло вот так, по-женски, вглядываться в своё лицо. Мыло пахло остро – жасмином и ландышем, и в этом аромате тоже проступила забытая сладость.

От раздумий её отвлек звонок в дверь. Неутомимая Нюра прошагала на кухню и принялась выгружать из тяжёлого рюкзака банки с консервами, кофе, пачки чая, мешочки с крупой. Волонтерский центр упорно считал, что Галина голодает.

Развернувшись, Нюра только затрещала, но осеклась – рот её округлился изумлённым «О».

– Галина Павловна... вы что это, пластику себе сделали?

– Что? Нюра, да что за ерунда, откуда у меня деньги на пластику? Это крем. Крем мне подарил один приятель.

Кот под потолком пронзительно мяукнул, и Нюра вздрогнула.

– Э-э... да вон же он... баночка стоит на трюмо, взгляните, Нюручка!

На трюмо действительно стояла баночка с кремом. Она и впрямь выглядела дорого: тяжеловатый зеленовато-золотистый флакон, строгая латиница – Threshold Azazello Timeless Skin Compound. И неброский логотип – круг с маленьким разрывом внизу.

– Ой... – Нюра хамовато схватила баночку, но открыть не решилась, понюхала крышку.

– Пахнет... болотом каким-то.

– Да, он из редких болотных трав.

– Дорогой?

– Можно сказать, бесценный... Друг привёз издалека.

– Ну, Галина Павловна, вы прямо счастливица, таких друзей иметь. Тут его и не купишь, наверное...

– Не купишь, – подтвердила Галина.

Нюра с разочарованной гримасой поставила крем на место.

– Но я могу вам дать совет, Нюручка. Гимнастика для лица – вы не поверите, как омолаживает. Посмотрите в интернете. Лучше всяких кремов!

– Правда? – просияла Нюра.

– А как же!

Нюра утопала просветлённая, прижимая к боку опустевший рюкзак. А вот кот на шкафу возмущённо зашипел и злобно прижал уши.

– Сивер, да что опять?

Сивер издал звук пожарной сирены и метко прыгнул на трюмо, преодолев в полёте половину комнаты. Трюмо пошатнулось. Логотип на банке крема плавно потускнел и проявился уже иначе: в виде изогнутого чёрного кота с оскаленным зевом.

Теперь Сивер скакнул на открытую форточку и застыл, приюхиваясь. И тут Галина тоже уловила среди запахов мыла, можжевельника, болотного крема и пота Нюры тот самый аромат. Мёртвого мёда.

– Ну нет, – пробормотала она. – Ну что это за наваждение такое... Опять? Кому это надобно...

Собиралась Галина неспешно – не очень ей хотелось идти на этот запах, но шла твёрдо, просто не могла не пойти. Кстати, одеваясь, заметила: нынешние вещи стали коротки, тесны в груди и в бёдрах. Пришлось лезть в дальнейшее отделение старого шкафа, где хранились платья и пальто сороковых годов. И вот они пришились впору.

Сивер следовал за ней по крышам: иногда мелькал летучей мышью, иногда застывал чёрной горгульей, но хозяйка неизменно чувствовала его спиной. Оба глаза у него теперь были зрячими, да только один видел своё – невидимое для людей.

В квартиру Галина зашла, поковырявшись шпилькой в допотопном замке. Семья отсюда выехала буквально вчера – не вынесли чего-то в воздухе, срочно нашли другое жильё на противоположном конце города.

Здесь было пусто, да не совсем. Словно подняло ветром и неряшливо опустило на все поверхности множество мелких предметов: нитки, иголки, ножницы для маникюра, фломастеры, детские заколки, женские серьги, одинокий носок, даже вязаный шарф... Всё, что когда-то было потеряно и что хозяева не могли найти, потому что разозлили домового.

А теперь домовый – Доможилом звала его Галина – умер, и всё выпало из изнанки.

Было тепло, но это тепло казалось неживым. Пахло чистящим средством и старой пылью, не считая сухого мёда. Пустота тянула, точно из ткани бытия вынули что-то мелкое, вроде пуговицы, но важное – то, что эту ткань скрепляло и удерживало.

Галина прошла на кухню. Вещи стояли на своих местах, только вот часы спотыкались в своём тиканье, стрелки дёргались туда-сюда.

Галина остановилась у стены, где всегда было гнездо Доможила. Его не было ни видно, ни слышно, но оно всегда ощущалось. Теперь там зияла пустота.

Она присела, коснулась пола ладонью – пол обжёг подвальным холодом. Понятно, почему люди так быстро съехали, будто бежали. Дом перестал дышать, осталось лишь здание, лишь помещение. Даже милиции здесь делать было нечего: тело отсутствовало. Только на полу лежала старинная булавка – длинная игла с головкой в виде розы. Очевидно, любимая вещица бедняги домового.

Сивер не запрыгивал внутрь квартиры, но откуда-то снаружи Галина слышала его сочувственные крики. Ему тоже было жалко Доможила.

Галина решила пойти не сразу к себе, а куда-нибудь в кафе – надо было немного подумать. Хотя нет, думать было незачем, требовалось почувствовать. Почувствовать, кто это делает и зачем. Иногда ответ содержался в самом воздухе на месте преступления против Закона, но не всегда – и точно не в этот раз. Воздух молчал.

У кафе за маленьким круглым столиком сидела женщина лет семидесяти – с уложенной на затылке причёской, в лёгком сиреновом пальто – и церемонно читала бумажную книгу. Перед нею стояла крохотная чашечка эспрессо: никаких булочек или пирожных.

Такие дамы всегда нравились Галине. Пожилые питерские театралки, неизменно ухоженные, надушенные, увешанные старинным рыжим золотом с тёмным янтарём. В них был стержень, заставлявший держать спину прямо, всегда красить ресницы и не жаловаться на бедность. Казалось, старость обходит их стороной – они просто умели держать удар.

Галина полагала, что они обменяются моментально узнающими друг друга взглядами, однако дама посмотрела на неё равнодушно и пусто – как смотрят на чужих молодых женщин. Галина в кафе не пошла. Тихо свистнула Сиверу, и они направились домой.

Ночью грянула гроза – и это в конце сентября. Такое бывает, когда Граница дёргается.

Сивер пришёл в кровать не от страха, а от восхищения тем, как за окнами полыхало без передышки и гремело чудовищно, настоящими раскатами. А потом полил такой дождь, что Галина сонно подумала: дом стал кораблём. Грохот стоял такой, будто наверху двигали громадную мебель, а иногда в ярости крушили её в щепки. Чудилось, что старинный дом уже сорвался с места и несётся в мутной пучине.

В кухне настезь распахнулось окно, но Галине и Сиверу не хотелось вылезать из-под одеяла. Они лежали и представляли, как вода дойдёт до их этажа. А потом заснули под гул бури, а утром удивились, что мир остался прежним и по-прежнему светит солнце. Даже лужи на брусчатке были невелики.

В следующий раз запах мёда наплывал нервными волнами – отдавал гнилью, мелом, старой штукатуркой. А искать и вовсе не пришлось. Возле ювелирного магазина Галине встретила Элеонора, воплощавшая весь василеостровский гламур. Под белым пальто виднелось жёлтое шёлковое платье. Нора эффектно закатывала густо накрашенные глаза.

– Вы слышали? В доме напротив Гумилёва рухнул чердак! Редчайшее везение, что не было жертв... Да и вообще, – она послала многозначительный взгляд, – странности уже и до того там были. Двери и рамы трескались, в вентиляции куриные кости находили, шишки, скорлупу... Грязь наносило, словно с болот... А главное – стоны слышались с чердака... А потом – раз! – и рухнуло!

И Элеонора поплыла дальше, как элегантная торпеда. Рядом зажурчал какой-то мужчинка с пакетами и бутылками вина. Следом посеменила то ли домработница, то ли секретарша – тихая, бледная, с толстыми русыми косами.

Галине не хотелось никуда идти: она знала, что увидит. Но Закон не спрашивает желаний.

В дом доступа не было, его огородили пёстрыми лентами – часть строения вообще обвалилась. Но странным было другое: несмотря на то, что это был исторический доходный дом, утыканный памятными табличками, он будто выпал из городского шума, его окружала вязкая тишина. Только старый дворник стоял и смотрел в окна, опираясь на метлу.

– Что здесь случилось? – спросила Галина.

Дворник посмотрел на неё; глаза его слезились, из-под шапки выбивался старческий пух.

– Да вот кошка здесь была... Серая, полосатая... Злющая, как чёрт. Но смешная – умора. А теперь нету её. Сколько ни кисаю.

– А с домом что? – спросила Галина.

– Да крыша, что ли, упала, – пожал плечами старик. – А кошки нет.

Запах мёда стал сладким, будто ответил ему, а потом – резко кислым, с надломом.

Кикимора, подумала Галина. Это кикимора ушла – и унесла шум, проказы, раздражение, болтовню, капризы, ссоры. Вроде должно было стать лучше, а стало просто тихо, даже слишком тихо, когда даже вода в раковине старается не шуметь. Только пустота – обиженная и глухая.

А дома у Галины всё ещё было спокойно. От соседей плыл запах кофе и подгоревшей овсяной каши, в окно смотрело синее небо, яркое, как анилиновые краски.

Галина вспомнила вдруг одну заморскую сказку, где Смерть пришла к китайскому императору, тяжело села ему на грудь и начала играть его короной и золотой саблей. Сильные чувства – вина, страдание, большая любовь – тоже садятся на грудь.

Снова к реке она выходит раньше новостей, раньше слухов и сплетен, раньше первых машин с сиренами и мигалками. Здесь всё выглядит нормально: река течёт, ветер гонит рябь, но Галина замечает: вода больше не смотрит в ответ. Отражение распадается, словно его пытаются стереть резинкой. И запах всё тот же: не тина, не река – железо и сладость.

Она идёт вдоль берега и замечает одну за другой разные мелочи: утки держатся ближе к суше, рыба не плещется, вода у мостовых опор стоит гуще, чем должна, почти как студень.

Все смерти до этого были частными, мелкими, но тут – всё куда серьезнее. Когда уходят такие сущности, даже город – эта циничная громада, пропахшая равнодушием, – сразу ощущает внутри плоти трещину. И она начинает быстро ветвиться: подтопления, аварии, болезни, тоска... Да, всё спишут на износ материалов, на ошибки людей, но трещину это не излечит.

Галина выпрямляется и запахивает узкое чёрное пальто, которое носила ещё молодой женщиной десятилетия назад. Но теперь она думает не о любви, а о том, сколько ещё пустот этот мир выдержит, прежде чем начнёт разваливаться. И добывает из воздуха ясное видение: кто и почему это сделал.

Водяной жил в бетонном чреве города. Он давно был не хозяином воды, а только надзирателем над её остатками. Его тело расплывалось, как отражение в грязной луже, он слышал город целиком: трубы, насосы, стоки – всё, что течёт, рвётся, трескается. И болезненно ощущал, как много уходит без всякой надобности. Как люди открывают краны и отвлекаются, а вода хлещет – как кровь из открытой раны. И таких ран уже не сотни, а тысячи по всему городу...

А ещё он чувствовал, как город оскверняет, пачкает ближайшие водоёмы. Нефтяные пятна, горы мусора на берегах, мор рыбы, растолстевшие от вредного корма птицы, застрявшие в искусственном тепле каналов... Всё это множилось, умножая боль хозяина, потерявшего свою власть.

Юноша к нему пришёл обычный с виду, но с внимательным взглядом и не чужой старой магии: она его знала, она его позвала. Сам хозяин воды попросил – умолял, кричал, плакал, когда призывал.

А ещё Галине на миг кажется, что она узнаёт этого юношу, и сердце её делает удар неупад.

Глава 3. Иван

Иван родился в Петрозаводске – городе у самой воды. По утрам тяжёлый озёрный туман сперва ложился на Онегу, а потом медленно втягивался в прибрежные еловые чащи. Весной здесь долго не сходил лёд. Даже апрель тянулся дождями, мокрым снегом и низким небом, задевавшим верхушки деревьев.

Когда Иван смотрел в окно, ему приходили на ум разные сравнения: серая кисея, влажный пепел, дымчатая шерсть. За окном не было ни холмов, ни простора – только тёмная вода, бревенчатые дома и пятна огородной земли, проступавшие сквозь наст. Зелёный цвет здесь был особенный: не яркий, а глухой, хвойный, цвета мха. Красный тоже встречался – тёмный, как кровь, а больше всего было серого, зато в тысячах оттенков.

Зелёный цвет был любимым у его матери и всех её родственников – изгоев среди своих, своих среди изгоев. Они исчезали из жизни так, что о них потом не говорили. Но до поры до времени всё шло спокойно. Иван не задавался вопросом, почему, живя вдвоём с матерью, они никогда ни в чём не нуждались, хотя мать нигде не работала, и откуда в их доме столько странных вещей. А ещё – самого настоящего золота.

Не задавался он и вопросом, почему мать так замыкалась в себе, когда стали появляться дальние кузены, с жадным блеском в глазах поглядывавшие на её золото и на её дитя. Ребёнком Иван в этих фигурах ничего необычного не видел. Ну и что с того, что некоторые из них мерцали, как болотные огоньки, другие были ростом с ножку обеденного стола, а у третьих посты-

янно менялся облик? Ведь и сам Иван, не по годам быстро взрослея, замечал, что не похож на остальных детей. Только его это не печалило, а, наоборот, радовало. Мать, поглядывая на него, порой с грустью качала головой.

Подрастая, он начал понимать, что для чудных сородичей представляет большую ценность, чем золото. Это наполняло его торжеством – злым и весёлым. При матери он держался с родственниками вежливо, но холодно. Однако, когда мать неожиданно умерла, без колебаний принял приглашение переехать в деревеньку к тётушкам.

В этой деревеньке что-то коварное, сладкое шло от лесных трав, растекалось жаром по нервам и тянуло к золотому, сияющему; заставляло Ивана забираться в самые глубокие дебри. Старухи – бабки и тётки – на это не ругались, а только посмеивались себе под нос.

Однажды Иван вернулся из такой затяжной прогулки по чащобам и застал от деревеньки только пепел и угли, да и те уже рассыпались под бездушным небом. И только сердце трепыхалось – как вытщенная на берег рыба.

Он знал – не разумом, а нутром: те, кто сожгли деревню и истребили целый род, искали именно его. И с этим знанием он жил долго. Злость никуда не девалась, но он носил её молча. Ждал.

Когда Ивана накрывало слишком сильно, непереносимо, он уходил к озеру и сидел у воды часами. Озеро было тёмное, холодное, без дальнего берега – волны будто уходили в лес и там терялись. Иван слушал, как в такт его гулко бурлящей крови тяжело бьётся прибой о камни, вдыхал запах сырости, тины и хвои.

В тот день он, однако, до озера не дошёл. Свернул раньше, углубился в лес и добрёл до болот. Сел на толстое замшелое бревно в низине и просто молчал. Слез не было. Он замер и не сразу заметил, как из сырого марева проступило нечто маленькое, зеленоватое, будто само болото слепилось в фигуру. В руках у неё болталась корзинка с красными ягодами и пучками трав, которые волочились по земле пыльным хвостом.

– Молодой кудесник грустит? – запричитал старичок тонким скрипучим голоском. – Горькая доля постигла его? Хочет ли кудесник отомстить?

– Очень хочет, – ответил Иван.

Лес отозвался сразу. Деревья зашептались, где-то заскулило, внезапный порыв ветра сорвал с ели толстую ветвь и с размаху швырнул на землю. Зеленоватый подался назад, расплылся и исчез. А Ивана вынесло от болота прямо к дому с зелёной крышей в окружении старого яблоневого сада. Во дворе в траве возились чёрные кролики, на стволах яблонь мелькали рыжие белки, а на коньке крыши сидел огромный чёрный кот с разноцветными глазами.

Заметив Ивана, кот издал звук, похожий на скрип несмазанной двери. Через мгновение из дома вышла женщина в зелёном плаще.

– Какой резвый, – сказала она и улыбнулась.

Иван взглянул на неё, ожидая увидеть старуху, похожую на трухлявый пенёк, и обмер. У неё были длинные тяжёлые волосы – в тени они казались вороновым крылом, а на свету отсвечивали рыжим лисьим хвостом. Глаза были такие же переменчивые: карие, зелёные, янтарные, что-то плескалось в них, как тёмный мёд. Она не была старухой, скорее молодой женщиной, хоть и старше Ивана. От неё пахло дымом, яблоками и травами.

– Ну что ж встал, проходи.

Иван не сдвинулся с места. Он смотрел на неё, и злость, ещё недавно рвавшаяся наружу, вдруг осела, как ил.

– Ты хотел мести, – сказала женщина уже серьёзно. – Болото это слышало. И лес слышал. Но понимаешь ли ты, кому хочешь отомстить?

– Думаю, понимаю, – осторожно ответил Иван. – Но по традиции ты меня сначала должна в бане попарить, накормить и спать положить, а потом уже расспрашивать. В сказках ведь так положено?

Женщина склонила голову набок и посмотрела на него, как птица.

– Мы не в сказках, дурачок. Попариться хочешь? Ну так умей затопить. Вон она, баня – стоит, жжёт тебя.

И, не оглядываясь, пошла в огород, к грядкам. За ней весело поскакал мохнатый чёрный кролик.

Баня предстала перед ним тёмная, глухая, давно не тронутая: дверь перекосилась, на пороге вырос изумрудный бархатный мох, внутри пахло сыростью и старым дымом. Печь стояла холодная, зольник – полный, камни – покрыты серым налётом. Ни дров, ни воды не видно.

Но Ивана этим было не напугать. Он всё нашёл сам: поленицу под навесом, колодец, ну и спички в кармане всегда носил с собой. Вычистил золу, возясь с заевшей заслонкой, и оцарапал ладонь. Пара капель крови упала в нутро бани, точно старый спящий зверь шевельнулся и всё же куснул его.

Огонь взялся не сразу, но пошёл ровно, без дыма. Баня начала прогреваться.

Иван принёс воды, поставил вёдра у стены. Камни медленно темнели, сухое тепло поднималось от пола. Он подождал, пока они дойдут и начнут держать жар. Лишь тогда заметил на полке веник – сухой, старый, берёзовый. Оставил его у чана и снова занялся печью. Ещё немного – и в глубине топки уже потрескивало от жара. Баня задышала.

Иван вдруг ощутил, что ему смертельно нужно смыть, соскоблить с себя всё, чем он пропитался на пепелище, что так и не смог стряхнуть у болот.

Разделся не сразу. Сел на лавку, опустив руки, и послушал, как в печи держится огонь. Пара ещё не было, но тяжёлое тепло уже поднималось снизу – вязкое, обволакивающее. Стало вдруг так хорошо, разом отпустило. Подумалось, что можно и не начинать долгую историю кровавой мести, а просто лечь здесь и закрыть глаза. Навсегда. Никуда не вставать и ничего больше не делать.

Но он всё же поднялся. Медленно, чувствуя слабость в ногах. Осторожно плеснул воды на камни, проверяя жар. Они отозвались тихим шипением. Тогда он поддал ещё, и веник запарил над самой каменкой, в горячем облаке. Пар пошёл плотный, тяжёлый, ударил в лицо, в грудь, в горло. Иван закашлялся, но не вышел. Дал пару лечь, взял ожившие берёзовые ветки – уверенно, как оружие, – и почувствовал, как внутри поднимается здоровая злость.

Рано ещё отсыпаться в гробу. Это всегда успеется.

После бани должно было захотеться спать, но вдруг нестерпимо захотелось есть. Показалось – съел бы сейчас что угодно, хоть сырого быка. Мысли сразу упростились. Всё лишнее отвалилось, осталось одно: пища. Хоть зёрнышко, хоть сухарик, хоть стебель клёна. Из бани он почти бежал к дому, не думая ни о ведьме, ни о правилах. Надо было срочно что-то сообщить, что угодно, лишь бы горячее.

В доме было темно, печь остыла – ни крошки, ни запаха. Стол, правда, стоял на месте, как и лавки вокруг – всё чистое, нетронутое ещё, без пыли, без следов готовки. Кот сидел у печи и глядел внутрь, в её устье, будто туда кто-то ушёл и не вернулся. Кормить Ивана точно никто не собирался.

Иван полез в кладовую, нашёл полотняный мешочек с овсом, горсть сушёных ягод, кувшин с чем-то густым и мутным – не то закваска, не то кисель. В углу отыскался чугунок, закопчённый, но целый, да и сковорода висела на гвозде.

Снова пришлось топить, таскать дрова из дальней поленицы, и, как назло, остались они только кривые, сырые да тяжёлые. Пока он возился, белки стали таскать из-под навеса тонкие

щепки, одну за другой, да ещё и кролики толклись у ног, мешая. Кот задел лапой пучок бересты, и тот свалился с печи.

Но вот огонь разгорелся. Иван поставил чугунок, налил воды, всыпал овёс, бросил ягоды, уже не думая о том, что выйдет. Вышел кисель – густой, тягучий, красноватый, пахнущий кислым лесом. Иван поморщился, но не отставил.

Она появилась, когда он доел. Встала у порога, не входя, посмотрела на стол, на чугунок, на пустую миску.

– Сварил, глянь-ка, и даже ничего вышло. И не побрезговал. Да и баньку смог растопить. Не такой уж ты и дурачок.

С болот донёлся глухой, леденящий вой. Кот зашипел, прыгнул на стол прямо перед Иваном и сел, точно его охраняя. Шерсть его переливалась в свете луны, один глаз горел золотом, другой – зелёным.

Из кладовой донеслась странная музыка, словно кто-то нежно играл на дудочке, а потом вдруг звуки начали когтями скрести по ушам, по сердцу – невыносимо, до онемения. Но разом стихли.

И запах в открытое окно проник густой, будоражащий: влажный ветер с озера, болотные травы, мокрый мох на камнях у ручья... За окном не видно было ни зги, лишь липкие клочья тумана клеились к стеклу.

Иван посмотрел на ведьму и замер. Профиль у неё стал как у старинных княгинь, в волосах пестрели рыжие листья, алые ягоды и белые цветы, кожа в свете огня переливалась от золотого до тёмно-медного, а порой отливала зеленоватым, будто патиной.

Иван моргнул раз, другой; ресницы словно склеило тяжёлой золотой пылью.

А потом ведьма разом сбросила одежду, и тело её засияло, точно всё было выточено из лунного света.

Ивана потянуло к ней – он качнулся навстречу и оказался рядом, не заметив, как сделал шаг. Никаких мыслей больше не осталось, и голод, который сейчас в нём пробудился, был сильнее того, что побудил его пить кошмарный кисель.

Очнулся он на грядках. Его окутывал резкий аромат примятой томатной ботвы, на нос упала крупная капля, пахнувшая сосновыми иголками. Тянуло клевером, потом бархатно проступил мох, следом – густой дух елей.

Иван вдохнул поглубже и словно увидел всё разом: как вдали, по опушке, скачет заяц, оставляя удушливый серо-жёлтый след страха, а лис, наоборот, пахнет пронзительно, уверенно-алым. Как сгустки пепла, над пустошью вились вороны; как вдалеке, над озером, наливались озоном кучевые облака. А потом пришёл другой след: странный, кисловато-сладковатый. Он уходил под поваленные бурей стволы за огородом ведьмы.

Иван понял: так пахло золото. Он прекрасно его чувствовал и знал, где оно зарыто. Вот зачем за ним охотились мамины родичи. И их убийцы.

Ведьма нашла его, когда он сидел на выворотне и пересыпал руками камешки. В его пальцах они обращались в самоцветы – вспыхивали земляничным, медовым, оттенками омытой после грозы небесной синевы. Во влажном тепле низины исходили соком болотные цветы: лаково-жёлтые кувшинки, сиреневые ползучие стебли, пронзительно-синие колокольчики. Дышали и перешёптывались травы, на мокрые кочки вылезли лягушки, заводя горловое пение.

Иван теперь видел и чуял далеко вокруг: как несётся, ломая ветки, олень, спугнутый волком, как кролики выбегают из норок, как заводит заблудшего путника в чащу лесной дух, как играют с деревенскими юношами юные ведьмы, возжелавшие человека...

Ведьма присела рядом неслышно.

– Не передумал? – тихо спросила она. – Станешь убийцей.

– Не передумал, – ответил Иван. – Скажи мне, где они. А потом я вернусь. К тебе.

Глава 4. След

Когда-то давно одна из бабушек рассказывала маленькому Ивану сказку о мальчике, который чуял золото: когда оно находилось поблизости, у него начинала болеть голова. Позднее Иван понял: сказки врут, да не совсем. Для него золото просто источало особый свет и особый запах.

Ведьма это знала. Она не стала говорить ничего, просто показала то, что из его сгоревшего дома было украдено. На узкой женской ладони лежал неровный самородок, похожий на кусок застывшего сала.

– То, что похищено у твоих, пахнет так же, – сказала ведьма.

Иван ощутил запах сразу: сырая земля, плесень, холодное железо. И ещё что-то сладковатое, тягучее.

Это что-то повело его через леса и поля. Телега, потом грузовик, потом поезд. В вагоне пахло углём, мокрыми шинелями и человеческим телом – тяжёлым, немытым, привыкшим к тесноте. Люди дышали редко, экономно, как если бы сам воздух выдавался по карточкам и за ним стояли очереди.

Самородок лежал в кармане и, казалось, тянул вниз, хотел вырваться и вернуться к своей колыбели – земле.

След помотал его кругами и привёл обратно в Петрозаводск. Город своего детства Иван не узнал. Всё, что он помнил мальчишкой до одиннадцати лет – аккуратные двухэтажные каменные здания, простор у Онеги, – лежало в руинах, присыпанное наспех серой извёсткой. Город едва скрепили заново после финской оккупации.

Но Ивана пошатнуло не от вида обрушенных стен. Там, где в детстве он бегал к озеру, земля теперь издавала мрачное эхо лагерей. Он кожей слышал отзвуки стонов узников, умерших от голода, видел призрачные контуры колючей проволоки вокруг знакомых с детства кварталов, хотя её уже сняли. Пока шла война, а сам он рос в лесной глуши у тётушек, колдовством скрытой от людских глаз и людских бед, его город превратили в сочащуюся рану.

Иван приехал сюда мокрой весной, и улицы казались похожими на куски серого влажного ноздреватого сыра. Он ходил мимо натянутых деревянных бараков, временных двухэтажек и старых коробок с наспех брошенными перекрытиями. На крышах там и сям виднелись поспешные жестяные латки, в кладке стен смешались три сорта битого кирпича.

Смешались и толпы разномастного народа: фронтовики, переселенцы, присланные специалисты – пёстрая солянка, где никто никого не знал. Здесь чужое прошлое можно было надёжно спрятать, а грехи – растворить без следа, как сахар в кипятке.

Иван поселился в одном из центральных районов и каждый день с утра до вечера слонялся по улицам, меся весеннюю грязь, прыгал по доскам вдоль тротуаров, обходил гигантские лужи. И вдыхал сотни острых запахов: талого снега, первых зелёных почек, печного дыма, сырых досок, угля, рыбы с Онеги на рынке, известковой пыли, мокрых валенок...

На окраинах на заборах сушились сети, на берегу виднелись перевёрнутые лодки. Женщины носили вёдра с водой, тут же бегали дети в безразмерных ветхих ватниках, а мужчины поголовно донашивали шинели без погон. На Онеге натужно дудели пароходы, доски причалов были мокрыми и скользкими, как лёд.

Но мало было гулять по городу. Иван тёрся на рынке, куда стекались все слухи. Именно на базаре люди немного оживали, раскошеливались, расщедривались на короткий рассказ, но, выходя за ворота, снова становились людьми послевоенного севера – чужим не доверяли, лишнего не спрашивали, привыкли к утратам. И совсем не реагировали на странное, поскольку пережили страшное.

Только вот золото почти потеряло запах в море этого разношёрстного люда. След затухал.

В этот раз возле рынка было чёрным-черно: снег сошёл, из-под него проступила земля, пахнувшая прелыми листьями. В низинах стояли лужи – тёмные, почти неподвижные. Дороги расплзались, колёса вязли, люди шли по обочинам, избегая жидкой засасывающей грязюки. Ветер тянул от Онеги перемерзшим лесом.

Иван стоял, слушал скрип тележек, ругань грузчиков, глухие удары ящиков. И вдруг сквозь пёстрое месиво – уголь, известь, сырые брёвна, дёготь, рыбную чешую, солёную воду, дым – проскользнула отдельная нота. Тонкая, как если бы где-то далеко звякнул металл.

Иван ввинтился в рыночную толпу.

Какая-то женщина покупала муку – серую, плохонькую. Внимание привлёк её платок – тонкий, из ткани с редким узором, хоть и давно поблёкший. Лицо у женщины было сухое, узкое, почти бесцветное. Ей могло быть и сорок лет, и шестьдесят.

Иван последовал за ней.

Он держался поодаль, но потерять её не боялся – запах золота стал устойчивым. К тому же след теперь был виден и глазу: походил на тоненькую мерцающую нить.

Нить довела его до обычной коммуналки с длинным коридором. Здесь пахло варёной капустой, мокрой одеждой, щёлоком; на кухне стояли кастрюли, сушились тряпки. В раковине лежала рыба.

К её двери подходили по одному. Женщина в ватнике пришла днём, постучала осторожно, как к врачу. Через полчаса вышла – красная, но спокойная. На лестнице остановилась, перекрестилась быстро, почти незаметно, и пошла вниз. Потом пришёл мужчина. Долго не решался, стоял, курил, потом вошёл. Когда вышел, шагал быстрее, будто его отпустило.

Она принимала не каждый день и никогда – больше трёх человек. Иван чувствовал во всём этом тусклый блеск бытовой магии, точно от старого латунного кольца. Гадания, предсказания, отвороты, привороты...

Когда он курил под окном, удалось подслушать разговор на кухне. Говорили тихо, голос какой-то старухи тянулся, как дым.

– Да она из Ленинграда.

– Да много кто оттуда, разве невидаль?

– Тут иначе. Она в блокаду там была.

– И чего?

– Ничего. Только не голодали они, понимаешь, тетеря ты. А кто не голодал, там совсем другими стали.

Тут кто-то зашёл на кухню, кто-то что-то спросил, поставил чайник, и разговор уполз в сторону. Да и вовремя: Иван уже совсем замёрз у окна, на папиресе вырос высокий столбик пепла, а самородок в кармане стал увесистее раза в три.

Позже о том же шептались на рынке – и не только про неё, но и про двух её старших братьев. Везде говорили разное, но смысл оставался один.

Ленинград.

Блокада.

Не голодали.

Что-то покупали, что-то продавали.

Наживались.

За несколько дней Иван выяснил всё и про братьев: где живут, где работают. Запах золота больше не терялся – он ожил, стал хищной ищейкой.

Глава 5. Месть

Ранним сырым утром с крыш капала вода. Люди шли мимо, не поднимая глаз.

К старшему брату Иван пришёл без повода. На вывеске значилось: госмагазин номер пять, но внутри всё дышало старой дореволюционной лавкой. Запахи стояли привычные: табак, металл, сырые доски, ящики с гвоздями и прочим железом. В этот час здесь было пусто.

Дверь сильно скрипнула. Высокий грузный мужчина за прилавком поднял голову. Иван некоторое время просто стоял, разглядывая его.

– Тебе что? – наконец спросил продавец, нахмурившись.

Иван не ответил, но подошёл ближе. Мужчина повёл широкими плечами, взгляд у него стал настороженным – как у зверя, который не видит опасности, но чует её.

– Люди говорят, вашу семью изменил Ленинград, – тихо произнёс Иван.

– Дак он всех изменил, – осторожно ответил мужчина. – А ты вообще кто?

– К вам в Ленинграде приходила женщина, просила за детей.

– Все просили!

– Но эта предлагала не только драгоценности. Она предлагала тайну. Где найти тех, кто делал золото из любого предмета. Колдунов.

Краснолицый будто налетел на что-то невидимое.

– Ты кто? – повторил он.

– И вам сказали, что есть особый мальчишка, который чует золото, как собака мясо. Вы очень хотели его найти, а когда не нашли – сожгли всю его родню. Злились. Ну и ограбили дом заодно. Золото там и вправду было, целая груда. Но вам и этого было мало. Хотелось золота без конца.

Взгляд мужчины заметался по лавке.

– Я не знаю, как вы справились с колдунами такой силы. Думаю, у вас была некая волшебная штука. Чего только не купишь в блокадном городе, правда? Чего только не украдёшь. Можно ограбить и убить – никто не заметит. Трупов тысячи, от многих и костей не осталось.

– Ерунду какую-то городишь. Сбрэндил, что ли? Много вас таких, поехавших.

Иван усмехнулся.

– А я тебе скажу: ты везунчик. Вот он я – мальчик, который золото чует. И я принёс подарок. То, за что вы душу продали. Чистое золото. Целый слиток.

Мужчина не сдержался, метнул взгляд на ладонь Ивана, и сквозь страх полыхнула жадность.

На ладони лежал тот самый самородок. Тот самый, да не тот. Теперь он горел, переливался, наливался весом и выглядел как ярко-жёлтая печень гигантского языческого бога. Потрясающая редкость.

Продавец быстро оглянулся по сторонам: все сделки с золотом были вне закона. Как будто это ещё имело значение.

– Чего хочешь? – судорожно сказал он. – Отдай его мне. Отдай! Всё скажу.

Руки его потянулись к слитку, вцепились намертво, потянули на себя. Лицо побагровело совсем, грудь вздымалась, глаза почти выкатились из орбит. А потом он перегнулся через прилавок, ударился плечом, попытался вдохнуть и рухнул на пол.

Иван постоял рядом – запах изменился, стал тоньше. Он взял самородок, ещё горевший, как жар-птица, но уже остывавший, и вышел наружу.

Весна всё ещё была чёрной. С крыш капала вода, прохожие шли мимо, не замечая его.

На следующий день в магазине вовсю шла ревизия – считали ящики и гвозди, а через неделю за прилавком стоял другой человек. Покупатели поговорили недолго.

– Сердце.

– Да он давно жаловался. Милиция приезжала, в морг возили, но врач сказал – чистый инфаркт, мгновенно.

Дальше женщины стали обсуждать другое, важное – муку, рыбу, цены. Смерть давно перестала быть невиданным делом и просто растворилась в этих пересудах.

Кладбищенская земля расплзалась под ногами – доски, брошенные вместо тротуаров, проваливались в грязь. Люди шли медленно, осторожно, будто боялись не упасть, а испачкаться.

Гроб стоял у края свежей ямы. Говорили мало: мужчины курили, женщины шептались, кто-то принёс водку. Иван стоял в стороне, смотрел на живых, не на гроб.

Сестра пришла сразу – она, видно, и занималась похоронами. Всё тот же узорный платок и старое пальто; рукава были коротки и обнажали выпуклые косточки на тонких запястьях.

Брат – второй, средний – подошёл последним. Бросил ком земли не глядя, дежурно, и сразу зашептал сестре в ухо, задёрнул бровями, заозирался. Быстрый был, пылкий и скользкий; сладкие масляные глаза. Впрочем, Ивану и разглядывать не требовалось: след золота тянулся за ним отчётливо.

Он ушёл, не встретившись с ними взглядами. Похороны теперь проходили быстро, к смертям все привыкли.

Дорога с кладбища уходила вниз, к городу, в колее стояла вода, отражая серое небо. Весенний ветер пах талым снегом. И в спину Ивану этот ветер донёс слова среднего брата:

– Я не хочу умирать.

Сестра промолчала.

Спина у Ивана была чувствительной даже без чёртова золота. Чужое присутствие он ощутил, когда шёл вечером в узком переулке между домами. Здесь всегда было темно, пахло сыростью, кошками и углём. Люди сюда заходили редко.

И нож он почувствовал задолго до того, как тот, у кого он был в кармане, приблизился. От человека с ножом пахло чесноком, сыростью, тревогой.

Иван повернулся. В темноте ничего не было видно, только глаза – горящие, лихорадочные, жадные.

– Говоришь, не хочешь умирать? – спросил Иван. – Дак ведь никто не хотел. Кто к вам пришёл тогда в Ленинграде и рассказал о золотых колдунах?

– Не помню, – глухо ответил мужчина. – А ты кого строишь из себя? Я следил за тобой – живёшь, как все. На рынок ходишь, крупу покупаешь. Обычный человек.

– А обычного – можно убить, да? – усмехнулся Иван.

Чужое лицо придвинулось и оскалилось жёлтыми прокуренными зубами, среди которых тускло блестела толстая золотая фикса – блатной мародёрский капитал.

– В точку.

Он сделал мягкое быстрое движение рукой. В обычном случае лезвие уже вошло бы Ивану в печень, но слиток в кармане закрыл его: нож скользнул по золоту и ушёл в сторону.

А потом магия золота нашла на клыкe убийцы этот жёлтый металл и расплавила его, заливая горло. Смерть была быстрой. Средний брат рухнул на мокрый камень со странным клёкотом, дёрнулся пару раз и замер, скрючившись.

Ни один не раскаялся. Ни у одного Иван не увидел воспоминаний о Ленинграде или о сожжённой деревне близ озера. Просто пусто, темно: ни памяти, ни сожалений.

Иван вдруг почувствовал, что сам задыхается, и резко сел на какие-то сваленные в кучу ящики. Мсть ничего не меняла. Этот мир продолжал оставаться прежним. Когда-то давно он треснул и к целости так и не вернулся.

Осталась только она.

Перед тем как прийти к младшей сестре, Иван ещё несколько недель наблюдал за ней. На похороны среднего брата не пошёл – хотел видеть её обычную жизнь.

Она и была такой с виду. Женщины приходили к ней часто, иногда стояли у двери в страхе. Кто-то приносил яйца, кто-то – пшено, кусок ткани, а деньги несли совсем редко. Люди платили тем, чем могли, и она брала всё. Сама жила скромно: хлеб резала тонко, почти прозрачно, крошки собирала в ладонь, воду пила медленно, ничего не выбрасывала.

Дом тоже жил своими буднями: где-то текла вода, где-то стучала ложка о чашку, на лестнице ругались соседи, откуда-то вился запах дыма самокрутки.

Иван медлил. Это ожидание завораживало его, отдаляло беспощадное знание, которое должно было изменить его самого. Пока он не понимал, что это будет. Но предчувствовал.

Наконец он пришёл к ней. Выбрал утро, просто постучал в дверь и ступил в комнату.

Она сидела за круглым столом, накрытым скатертью с бахромой, на плечах лежал всё тот же узорный платок. Пила чай из тонкой фарфоровой чашки, слишком дорогой для всей остальной обстановки. Настоящий дореволюционный Гарднер – мать Ивана разбиралась в таких вещах.

Она поняла сразу. Всё же отчасти тоже была ведьмой, да и звериное чутьё человека, выживавшего в блокаду, давало о себе знать.

– Я устал пересказывать, – сказал Иван, глядя ей в глаза. – Думаю, уж ты-то меня понимаешь.

– Невелика трудность, – ответила она. – Просто дай руку – всё увижу.

Он протянул ладонь, и она взяла её в свои. Держала недолго, изменилась в лице, но не страх проступил на нём, а оупление, очень далёкое от раскаяния.

– Времена такие были, кто без греха, – сказала она. – Чего скрывать, в тот раз мы лишку хватили, но плохо знали ещё, что делаем. Это Василий придумал – всё сжечь. Никогда не успевал себя окоротить, вечно ему дурь в башку била.

Иван уселся за стол.

– Давай уж начистоту тогда. Я не за твоей виной прибыл. Мне нужно попасть в твою память, Мария, в тот ленинградский день, когда вам выдали тайну. И в тот день, когда вы купили какую-то штуку, которая запирала волшебные силы в человеке. Иначе бы вы не смогли сжечь деревню и убить моих родных. У вас не достало бы сил.

– А не было никакой штуки. Ты что, представляешь себе что-то навроде ложки деревянной или ножа серебряного? – усмехнулась она. – Не было инструмента. Было заклятие.

Иван нахмурился.

– Покажи мне всё, Мария.

– Отпустишь – покажу.

– Ты много просишь.

– Тебе ведь надо.

– Хорошо, клянусь, – после паузы сказал Иван.

– Ну, смотри в шар, – она сдёрнула белую вязаную шаль с огромного хрустального шара в центре стола.

– Разве это не игрушки для детей? – поднял брови Иван.

– Ты смотри, смотри. Игрушка тебе покажет.

Сперва пришёл физический холод. На улице, в воздухе, потом в домах: вода в ведре замерзала за ночь, а уцелевшие стёкла покрывались изнутри плотной коркой льда. Хотя большинство окон уже были выбиты бомбёжками и заколочены фанерой.

Сначала все они ещё пытались жить как раньше. Ходили по улицам, стояли в очередях, слушали новости. Люди говорили, что скоро прорвут, что нельзя паниковать, что надо держаться.

Еда исчезала. Свободная торговля умерла: сначала из магазинов пропали крупа и масло, потом всё остальное, а жизнь сузилась до крошечного хлебного пайка по карточкам. Люди начали менять вещи: сначала ненужные, затем нужные, затем семейные реликвии.

Совсем немного прошло времени – исчезли и разговоры. Остался звук шагов по снегу и скрип саней, на которых везли мёртвых. Сначала их укрывали, потом перестали. Тела лежали прямо на тротуарах, прислонённые к стенам, точно уставшие.

Холод приходил уже не снаружи, он полз изнутри и не отпускал, даже если повезло сидеть у печки. Он начинался в пальцах, под ногтями, потом поднимался по рукам, и казалось, что кости внутри становятся пустыми.

Мария тоже ходила на Сенную – с виду просто замёрзшая зловещая площадь, где в глухих подворотнях шептались люди. Рынок отчаяния. У каждого под полами было припрятано что-то: кольца, серьги, часы, иконы. Еду никто не выкладывал на снег открыто – её держали глубоко в карманах, в зажатых кулаках. Попадись патрулю – и трибунал за спекуляцию приговорит к расстрелу. А покажи плитку каменного подсолнечного жмыха или стакан земли, пропитанной сахаром со сгоревших складов, – выжидающий рядом рвач вырвет из рук и тут же, в паре шагов, станет судорожно заталкивать в сухой рот.

Мария смотрела, как женщина отдаёт обручальное кольцо за две мёрзлые, каменные картофелины, которые продавец мельком показал из рукава ватника. Муж стоял рядом, смотрел в сторону, молчал.

Дальше время слилось в один сплошной зимний вечер. Братья приходили, уходили, были злыми, взрывными, но злость эта быстро тухла, сменяясь глухим бессилием. И всё же каждый раз они приносили что-то: украшения, золото, тяжёлый комковатый хлеб, невесть откуда взявшиеся чужие продовольственные карточки. Мария не спрашивала, откуда они брались. Варила скудную еду, прятала чужое, не задавала вопросов.

Однажды старший пришёл и сказал, что на лестнице внизу стоит женщина. Она обещает сделать их богатыми, настолько богатыми, что они будут купаться в золоте, если сейчас ей дадут совсем немножко хлеба.

Брат сам ни во что особо не верил, ни в чём особо не смыслил, но то, что сестра владеет кое-какой магией и разбирается в изнаночном мире, было ему с детства привычно. Он не пытался понять, но и не отрицал: это было как дыхание, как дождь, как лекарственные травы в лесу. Просто было. И тут он тоже пришёл к ней – положился на её решение. Но ждал жадно, в глаза смотрел, точно принуждал: дать этот хлеб и взять что-то скользкое, неведомое, опасное – золотую рыбину.

Женщина не была худой, она была прозрачной. И что-то шептала про детей: что они не могут умереть и что у неё есть только то, что она сама знает, но это правда, правда.

Они выпытали у неё про дальних родственников-колдунов и про мальчишку, который чуял золото. Сырой, серый хлебный паёк у них был – отдали, хотя и плохонький, хотя и мало.

Дети, подозревала Мария, у этой бабёнки непутёвой всё равно тогда умерли: она слишком затянула с приходом. А может, не знала раньше, к кому обратиться. Да и сама наверняка сгинула – смерть уже там, на лестнице, смотрела из её глаз, выступала в скулах, в заострившемся носу. Смерть уже стала лицом этой несчастной.

Марии жалко их не было. Она тоже начала думать о золоте. А ещё – о настоящем волшебстве, о клане потомственных колдунов, даже не колдунов, а потомков волшебных существ, лесной и озёрной нечисти. И как можно было обезвредить эту магию, прижать? Мария знала, что отнять её невозможно, но обездвижить на время – вполне.

Счетовод, говорили они. Может всё исполнить, о чём попросишь. Но потом – потом надо будет платить, а вот чем и когда, никто не знает. И некоторым, говорят, удавалось платить так поздно, что почти было равно – не платить совсем. А некоторые платили сразу, так и не

успев насладиться тем, что выпросили. И непонятно было, от чего это зависит. Что-то забирал Счетовод, но что – толком не было понятно: душу ли, силу ли, просто ли время, или лишь немного искривлял линию судьбы.

Или это были только сплетни, страхи, наговоры – и никакого колдовства, никакого рока, никаких сделок и счетов. Мало ли люди болтают, мало ли во что верят, все шептались о разном, разговоров было много, а что на выходе? Мария не знала толком, что получили те, кто его просил. Да и не признались бы они, о чём просили. За такую плату не просят того, о чём можно рассказать.

Но легенда была, и был человек, и был даже адрес – не по улице и квартире, конечно, а так, по ориентирам: башня, арка, парадная, серая дверь.

Мария вынула из шкатулки несколько украшений – снятых с трупов и выменянных у отчаявшихся матерей, замоталась в шаль и старый полушубок и отправилась по непроглядным сугробам туда, куда в иную пору даже носа бы не сунула.

Она нашла этот двор не сразу: он упрямо не попадался, отступал на шаг, стоило к нему приблизиться, и только на третий раз она заметила, что одна из арок будто бы темнее других.

А вот дверь была тут как тут, хоть и не имелось на ней никаких особых знаков. Вернее, знаком было само отсутствие знаков: квартира без номера, без звонка, дверь с простой железной ручкой, и тоже серая, неприметная. Она отворилась сама, приглашая. И Мария вошла.

В комнату поступал свет, но непонятно было, откуда – не из окна и не от лампы; он просто был, и при этом по углам собиралась тьма. У стены стоял стол, на нём лежали счёты, раскрытая книга в плотном переплёте, незамёрзшая жидкая чернильница, перо – всё очень аккуратно.

Марии вроде бы пытались описать Счетовода, но описания выходили разные, точно речь шла о разных людях: то блондин, то рыжий, то совсем молодой, то моложавый и как бы без возраста, то очень красивый, то вовсе не запоминающийся.

Мария оглянулась и вздрогнула: хозяин жилища стоял рядом. И все, кто его описывал, одновременно оказались правы.

Сначала она отметила одежду: тёмные брюки, сидящие без складок, светлую рубашку – тонкую, сияюще чистую. И только потом – лицо: молодое, тонкое, лисье, с россыпью незаметных веснушек по скулам и переносице. Волосы – рыжие, короткие. Лицо было выразительным, но что именно оно выражало, Мария прочитать не могла, как не может непосвящённый прочесть вязь арабских письмен, которые, тем не менее, несут в себе множество смыслов сразу.

В комнате было холодно, ужасающе холодно, как везде в эту блокадную зиму, и Мария поймала себя на том, что не чувствует пальцев, хотя шла быстро. А рыжеволосый свободно стоял в одной рубашке и совсем не мёрз, даже ворот был расстёгнут.

Он посмотрел на неё, и она поняла, что значит – «без возраста». Перед ней стоял юноша, но ему были сотни лет. А может, и тысячи.

И в этот момент стало ясно, что говорить всё равно придётся, хотя бы попытаться, иначе она просто не сможет стоять здесь.

– Мне нужно... – сказала она и сразу сбилась.

Он не помог, не уточнил – просто смотрел, и это был не взгляд, ждущий объяснений, а тот, который уже что-то сверяет, словно ответ был дан раньше, чем задан вопрос.

– Нам... у них есть то, что нам нужно... У них есть золото. И сила. И мы...

Она запнулась.

– Мне говорили, что вы владеете... Что у вас есть... ну... заговор...

Тишина в комнате стала сплошной: ни звуков двора, ни далёкого стука метронома, ни даже звука дыхания.

Мария вдруг ясно, без всякой паники, почти с облегчением поняла: всё уже произошло, хотя она не услышала ни одного слова, не договорила ни одной мысли.

Она не спросила про плату – не потому, что забыла, а потому, что здесь это было неуместно: вопрос о плате существовал отдельно от этого места и момента и должен был возникнуть позже, в другой точке.

Он снова посмотрел на неё – так смотрят не на человека, а на галочку в списке.

– Иди, – сказал он, и в этом не было ни разрешения, ни приказа.

Мария зачем-то кивнула и вышла, чувствуя, что движение даётся ей с трудом – словно тело не сразу согласилось вернуться туда, где подчинялось обычным законам.

В парадной было холодно, но этот холод уже можно было понять, к нему можно было привыкнуть, его получалось объяснить.

Дальше Иван смотреть не стал. Некоторое время сидел молча и разглядывал кружевную скатерть, пожелтевшую от времени и стирок. Потом сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.